

Тоталитарный раскол: альтернативные модерности XX века

ЙОХАН
АРНАСОН

Термин «альтернативные модерности» часто воспринимается как синонимичный более привычному выражению «множественные модерности», однако представляется целесообразным разграничить эти понятия и конкретизировать значение первого из них. Альтернативную модерность можно считать неким паттерном, или системой, структурированной по принципу противоположности прежней системе и претендующей на широкие исторические – а в ключевых вопросах и на глобальные – смысл и значимость. В современном мире, который освобождается от иллюзии безальтернативной «конечной стадии» развития, наиболее очевидным кандидатом в этом отношении представляется Китай. Общеизвестно, что идеологические претензии и глобальные амбиции китайского режима, насколько можно судить по их открытым проявлениям, далеки от советских прецедентов периода «холодной войны», однако наблюдатели отмечают растущую тенденцию противопоставлять успехи Китая упадку Запада и указывать на китайский путь как на образец для развивающихся стран. Предлагаемые западными критиками и комментаторами интерпретации этого явления существенно различаются. Те, кто считает нынешнее глобальное соперничество великих держав



Йохан Арнасон (р. 1940) – философ, историк и социолог, специализируется на социальной теории и исторической социологии, прежде всего на сравнительном изучении цивилизаций, профессор Карлова университета (Прага).

**МОДЕРНИЗАЦИЯ
И
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
МОДЕРНОСТИ**

продолжением или повторением «холодной войны», в которой ключевые роли играют КНР и США, склонны воспринимать Китай как сохранившееся до наших дней коммунистическое государство, избежавшее легендарного «краха» 1989–1991 годов. Другую крайность представляет позиция тех, кто заостряет внимание на переменах в Китае и сложностях в противоположном лагере: такие аналитики пытаются осмыслить китайско-американское соперничество как борьбу «держав политического капитализма»¹. Никто, разумеется, не отрицает, что в Китае и в США политика и экономика взаимосвязаны по-разному и, соответственно, стратегии двух стран сильно расходятся, но в этом случае аргументация определяется более общей характеристикой: и там, и там капиталистические модели развития связаны с укреплением государства, политикой национальной безопасности и имперским видением международного порядка. Есть и третий подход, сторонники которого подчеркивают возрождение китайского национализма с его цивилизационной памятью и притязаниями. С этой точки зрения путь от Мао Цзэдуна к Си Цзиньпину представляет собой окончательное поглощение коммунизма национализмом – тем более, что национальная идентичность теперь явно и несомненно понимается в цивилизационных терминах.

Настоящая статья не ставит целью разрешение споров о современном Китае: в центре нашего внимания более ранние исторические стадии, наследие которых остается критически важным для понимания китайских проблем и перспектив, – и, таким образом, мы можем уберечься от преждевременных выводов. Принятие, адаптация и продолжающаяся трансформация Китая советской модели – ключевой аспект процесса, который в наше время часто называют восхождением к статусу сверхдержавы; соответственно, интерпретация как достижений, так и перспектив КНР будет зависеть от масштаба и значения, приписываемых этому транснациональному, а точнее, кроссимперскому фактору. Очевидно, что нынешние подходы к советскому опыту неизбежно отражают озабоченность его китайским продолжением, но в равной степени верно и то, что нерешенные вопросы трактовки советской истории усложняют интерпретацию китайской. Подобные проблемы, в особенности относящиеся к широкой исторической контекстуализации, являются главной темой данной статьи.

Споры интерпретаторов продолжают достаточно активно, и это не только объясняет пересмотр основных проблем ранней истории коммунизма, но и дает веские основания для расширения исследуемой проблематики. Формирование и укрепление

1 ARESU A. *Le potenze del capitalismo politico. Stati Uniti e Cina*. Milano: La nave di Teseo, 2020.

режима, выросшего из русской революции, было во многом связано с характером развития другой политической силы той же исторической эпохи, в свою очередь прямо зависевшей от противостояния и, в конечном счете, открытого конфликта с коммунизмом. В данной работе мы будем понимать термин «фашизм» в узком смысле, избегая расхожего смешения с более широким спектром авторитарных и диктаторских режимов: ограничимся режимами, пришедшими к власти на основе массовых движений, связанных с военизированной мобилизацией и апеллировавших к определенной версии революционной образности. В такой трактовке фашизм по сравнению с коммунизмом имел гораздо более ограниченную «продолжительность жизни» и был распространен не так широко. В Европе (именно европейский геополитический контекст будет обсуждаться в дальнейшем) фашистские режимы утвердились только в Италии и Германии, хотя сильные фашистские движения возникали и в некоторых других европейских странах, особенно в Австрии, Венгрии и Румынии.

ЙОХАН АРНАСОН

ТОТАЛИТАРНЫЙ РАСКОЛ:
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
МОДЕРНОСТИ XX ВЕКА

Нынешние подходы к советскому опыту неизбежно отражают озабоченность его китайским продолжением, но в равной степени верно и то, что нерешенные вопросы трактовки советской истории усложняют интерпретацию китайской.)

Отношения между коммунизмом и фашизмом развивались в несколько этапов. Наиболее примечательным явлением первого периода была неспособность коммунистических лидеров и теоретиков понять природу и перспективы зарождающегося феномена фашизма. Это движение – разноклассовое, хотя и с избыточным представительством определенных социальных групп, имевшее серьезную, хотя и недостаточно разработанную, идеологию, – ошибочно принималось всего лишь за инструмент правящего класса и, соответственно, причислялось к блоку якобы взаимозаменяемых политических акторов, на которые опирался существующий порядок, защищаясь от революционных вызовов. Данное заблуждение привело к катастрофически непродуктивной политической тактике, в случае Германии имевшей сокрушительные последствия. После захвата власти нацистами угроза как советскому, так и международному коммунизму стала очевидной, и новый курс – создание антифашистских «народных фронтов» – превратился в важный фактор привлекательности образа Советского Союза и повышения ставок управляемого им движения. Во второй половине



1930-х антифашизм сделался решающей стратегией легитимации для коммунистов, которые либо находились у власти, либо стремились получить ее, либо желали вступить в союз с теми, у кого было больше возможностей на нее претендовать. Это справедливо подчеркивается в работе Фюре о коммунизме² – и даже излишне педалируется автором, что не позволило ему должным образом описать всю сложность явления.

По мнению многих авторов, Великая депрессия, дискредитировавшая капитализм, стала основной причиной того, что масштабный переход Сталина к командной экономике в конце 1920-х воспринимали в качестве более рациональной меры, чем это было на самом деле. Вместе с тем очевидно, что страх перед фашизмом и вера в силу коммунистического сопротивления привели к явному снижению чувствительности по отношению к репрессиям конца 1930-х: на удивление широко распространилось представление, что в ходе московских процессов была устранена потенциальная «пятая колонна». Коммунисты ясно осознавали масштабы фашистской угрозы, но это не было связано с глубоким пониманием природы фашизма, что и сыграло роковую роль в последующих событиях. Заключение Сталиным некоего подобия союза с Гитлером в 1939 году произвело шоковое впечатление на многих сторонников коммунизма и сочувствующих ему, чем вызваны многие преувеличения в трактовках этих событий. Примером последнего может служить предпринятый в 1940 году Францем Боркенау анализ германо-советского пакта как закономерного завершения идеологической конвергенции³. Этот тезис вскоп опровергла сама жизнь, и в результате весьма интересная книга Боркенау – одна из лучших ранних попыток теоретического осмысления тоталитаризма – оказалась забыта. Для СССР, как и для Германии, пакт был тактическим маневром, не предполагавшим какой-либо долгосрочной координации стратегий; каждая сторона понимала, что другая готова его нарушить, хотя Сталин, по всей видимости, считал соглашение несколько более прочным, чем Гитлер, – подобное заблуждение вряд ли имело бы место, если бы намерения Гитлера о завоевании Востока, истреблении населения и строительстве империи были сразу же правильно поняты. Тем не менее есть веские основания отклонить нынешние попытки представить германо-советский пакт как единственный спусковой крючок Второй мировой войны. Этот договор был всего лишь звеном в гораздо более сложной цепочке событий. В то время никто не проводил эффективных мер против Гитлера, все были готовы принимать краткосрочные оппортунистические решения, и

2 FURET F. *Le passé d'une illusion*. Paris: Laffont, 1995.

3 BORKENAU F. *The Totalitarian Enemy*. New York: AMS Press, 1982.

потому развитие политики великих держав приняло поворот, ускоривший сползание к войне.

Как бы там ни было, договор о ненападении был предан забвению, как только Гитлер вторгся в Советский Союз. Это открыло и новую главу в истории отношений коммунизма и фашизма. Победа над нацистской Германией оказалась столь значима для легитимации и повышения авторитета сталинского режима, что многие историки рассматривают ее как границу двух периодов советской истории. Сходным образом этот рубеж мешает осмыслению долгосрочных последствий, которые мог бы иметь Большой террор, если бы не вмешалась война. Одним словом, легитимизирующий эффект конфликта с фашизмом вновь сработал – и в гораздо большем масштабе. Кроме того, советская пропаганда на ранних этапах «холодной войны» пыталась перенести этот успех на глобальную арену: противники СССР клеймились как фашисты или обвинялись в пособничестве фашистам, а новая поляризация мировой политики представлялась продолжением победоносной борьбы с нацизмом. Другая сторона конфликта выстраивала преемственность иного рода, ассимилируя образ советского режима с побежденным противником – фашизмом, – что создавало эффективную идеологическую основу для стратегии сдерживания.

Последовательные фазы конфронтации (и, в конечном счете, непримиримого противоборства) с фашизмом составляли важный аспект траектории коммунизма. Однако для полноты картины не мешало бы принять во внимание точку зрения самого фашизма. Попытки истолковать фашистский феномен как реакцию на русскую революцию приобрели в последнее время некоторый вес в науке, особенно в связи с работой Эрика Нольте и вызванного ею в Германии «спора историков» (*Historikerstreit*). Наиболее убедительную критику тезиса Нольте высказал Герд Кёнен⁴, указавший на множественность источников и причин разных тенденций, кристаллизовавшихся в фашизм в начале 1920-х. Среди них – радикализация национализма до 1914 года, взрыв насилия в Первую мировую войну и его последствия, а также реакция на травматический исход войны (неожиданное для населения полное поражение Германии и номинальная победа, воспринятая как поражение, в Италии). При всем различии трактовок неизменным остается факт одновременной мобилизации революционных и контрреволюционных сил в Центральной Европе после Первой мировой войны, и не вызывает сомнений, что контрреволюционеры считали большевизм, с его международными амбициями, серьезной угрозой,

4 KOENEN G. *Der multiple Nexus // Das 20. Jahrhundert – Zeitalter der tragischen Verkehrungen. Festschrift Ernst Nolte*. München: Herbig Verlag, 2003. S. 312–347.

ЙОХАН АРНАСОН

ТОТАЛИТАРНЫЙ РАСКОЛ:
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
МОДЕРНОСТИ XX ВЕКА



которой необходимо дать отпор. В контексте стратегии и идеологии нацизма – самой динамичной из контрреволюционных сил – враждебность к большевизму и его имперской мутации свелась к двум ключевым идеям: антисемитскому крестовому походу и мечте о территориальных завоеваниях на Востоке. Эти цели были интегрированы в идеологическую структуру, опирающуюся на распространенные западные концепции, тесно связанные с фазой расширения империй; таким образом, эти идеи лишь обострили соперничество великих держав, начавшееся еще в конце XIX века. Расизм и социал-дарвинизм занимали видное место в европейской мысли начала XX века (последний термин, строго говоря, неверен, поскольку идеологические конструкты, основанные на идеях конкуренции и выживании наиболее приспособленных, в общественной мысли вышли на первый план еще до дарвиновской теории эволюции), но в нацистской идеологии они были радикализованы и синтезированы, как никогда прежде. В результате возник глобальный проект, представлявший собой решительное отрицание революционной традиции, основанной на идеях свободы, равенства и братства. К официальным нацистским заявлениям о том, что на смену идеям 1789 года пришли идеи 1914-го, следует отнестись серьезно, хотя и с существенной оговоркой: указание на 1914 год предполагало далеко идущее переопределение геополитических целей и задач Германии. Замечание Карла Лёвита, что 1933 год был продолжением 1914-го, но другими средствами, в целом верно, если сделать акцент именно на взаимосвязанных изменениях средств и целей. Новое идеологическое наступление было направлено на целый спектр сил, которые можно рассматривать в качестве наследников Великой французской революции, применявших изобретенное ею идейное оружие. Попытки доказать, что стратегия Гитлера была направлена в первую очередь против либеральных государств, а не против СССР⁵, представляются неубедительными. Вопрос «или–или» не стоял: целью являлись обе стороны, но противник на Востоке представлялся более насущной проблемой и потому подлежал тотальному завоеванию, а битва с англо-американским блоком рассматривалась как длительное противостояние, при котором возможны компромиссы (в обязательном порядке асимметричные). И если первая фаза развязанной в 1939 году войны не вполне соответствовала намеченным установкам, то это было связано с геополитической конъюнктурой.

Идеология, формировавшаяся как прямая противоположность современной революционной традиции на основе избира-

5 SIMMS B. *Hitler: Only the World Was Enough*. London: Allen Lane, 2019.

тельного слияния отдельных противодействующих течений, была фундаментом нацистского режима. Чтобы осознать важность этого явления, историкам потребовалось гораздо больше времени, чем для осмысления феномена Советского Союза. Одной из первых вех на этом пути стала работа Эберхарда Еккеля о гитлеровской идеологии⁶, где на первый план выдвигался антисемитизм и расовый империализм; в современной науке значительный прогресс был достигнут в трудах французского историка Иоганна Шапуто⁷. Идеологическая система отсчета создавала образ модерности, противостоящей господствующим – и либеральным, и левым – версиям веры в прогресс, и эта радикальная альтернатива была встроена в тотализирующую концепцию истории. Одним из моментов, ярко высвеченных в работе Шапуто, является подробное и последовательно расистское толкование нацистами классической древности, тесно связанное с их политическими взглядами.

ЙОХАН АРНАСОН

ТОТАЛИТАРНЫЙ РАСКОЛ:
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
МОДЕРНОСТИ XX ВЕКА

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОНЦЕПЦИИ ТОТАЛИТАРИЗМА

Как уже отмечалось выше, возникшие после Первой мировой войны диктатуры нового типа были связаны общей и насыщенной событиями историей. Если мы хотим прийти к теоретическому осмыслению их значения для современного мира, то прежде всего следует найти отправную точку для сравнительного анализа сходств и различий этих диктатур. Как мы попытаемся показать, данной цели можно достичь с помощью понятия, которое часто отвергают из-за его противоречивой интерпретации в прошлом. Понятие тоталитаризма, или тоталитарного господства, было предложено для описания властных структур беспрецедентного характера, и множество значений, которые оно имело в межвоенные годы, отражало разное понимание самого явления, сложного и трудно объяснимого. В дальнейшем, особенно в эпоху «холодной войны», использование данного понятия тяготело к большему единообразию и упрощению при сопоставлении гипотетически общих черт фашизма (прежде всего в его радикальной нацистской версии) и коммунизма. Такой подход можно скорректировать, уделив больше внимания различиям. Дальнейшее изложение будет опираться на французскую традицию трактовки этого вопроса, в особенности на работы Корнелиуса Касториадиса, Клода Лефора и Марселя Гоше. Данный ряд интерпретаций известен гораздо меньше, чем англо-американские исследования,

6 JÄCKEL E. *Hitlers Weltanschauung*. Tübingen: Wunderlich, 1969.

7 См. в особенности: СНАРОУТОТ Ж. *La loi du sang. Penser et agir en nazi*. Paris: Gallimard, 2014. (В русской транскрипции есть еще одна версия имени Шапуто – Жоан. – Примеч. ред.)



но, на наш взгляд, открывает более интересные перспективы. В частности, монография Гоше о тоталитаризмах (множественное число в названии существенно)⁸ заслуживает того, чтобы считаться одной из двух наиболее фундаментальных работ по данной теме. Другое исследование – книга Ханны Арендт (1955, 1966) об «элементах и истоках тоталитарного господства», как сказано в ее немецком названии⁹; этот труд считается классическим, но отражает более раннюю фазу исследований и научных дебатов.

Чтобы подготовить почву для последующего всестороннего анализа, необходимо дать рабочее определение тоталитарного феномена. На институциональном уровне он включает в себя попытку объединить экономическую, политическую и идеологическую власть. Это не означает, что тоталитаризм отрицает функциональный или эволюционный закон дифференциации и, таким образом, противоречит «нормальной» модерности. Здесь важен исторический аспект. Стадии формирования и кульминации модерности характеризовались дифференцированным развитием институциональных сфер («жизненных укладов» – как их называл Макс Вебер) с их специфическими структурами и ориентациями; это размежевание обращается вспять, когда на социальное поле накладывается тотализирующий проект. Возникает необходимость радикального переформулирования социокультурной значимости, чтобы релятивизировать и подавить автономии различных укладов. Как подчеркивал Клод Лефор, главное в тоталитарном повороте – это слияние власти, закона и истины; центр власти, с его неоспоримыми претензиями на господство, становится высшим арбитром в нормативных и когнитивных вопросах. Последствием этого оказывается вообразимое отождествление общества с его трансформирующим потенциалом («институционализирующегося» и «институционализируемого» общества, если использовать терминологию Касториадиса), воплощенное в более или менее персонифицированной фигуре великого единства. Все это составные элементы реализуемого режимом проекта, и не следует ошибочно принимать их за характеристики всего общества. Тоталитаризм не значит тотальный порядок.

Вышеуказанный паттерн складывался по-разному, в зависимости от предыстории и обстоятельств в каждом конкретном случае; сходство было достаточно сильным, чтобы оправдать использование зонтичного термина, но варианты расходились настолько, что термин этот можно относить лишь к родовому сходству, а разнонаправленные амбиции не могли не привести к полномасштабному конфликту. Принимая во внимание этот

8 GAUCHET M. *À l'épreuve des totalitarismes*. Paris: Gallimard, 2010.

9 ARENDT H. *Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft*. München: Piper, 1991.

исторический аспект, название настоящей статьи, указывающее на тоталитарный раскол, следует понимать двояко: как отказ от ранее доминировавших версий модерности и как антагонизм соперничающих типов тоталитарных режимов.

ЙОХАН АРНАСОН
ТОТАЛИТАРНЫЙ РАСКОЛ:
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
МОДЕРНОСТИ XX ВЕКА

Главное в тоталитарном повороте – это слияние власти, закона и истины. Последствием этого оказывается воображаемое отождествление общества с его трансформирующим потенциалом, воплощенное в персонифицированной фигуре великого единства.

Возникновение тоталитарных режимов в Европе необходимо понимать, вслед за Марселем Гоше, с учетом множества контекстов. Генеалогическую реконструкцию следует начинать с кризиса либерализма в конце XIX – начале XX века. Суверенитет народа, постепенно устанавливаемый посредством расширения избирательного права, породил новые виды социальных конфликтов; национальное государство – вместе с сопутствующими ему разнообразными версиями национализма – санкционировало политическое измерение истории, несовместимое с либеральным пониманием порядка, а соперничество империй только усугубило эту тенденцию. Опыт последних десятилетий перед Первой мировой войной, наряду с интеллектуальным развитием и критическим осмыслением научных теорий, подорвал либеральную веру в прогресс. Тоталитарные проекты не играли ведущей роли в странах наиболее развитого либерализма со всеми присущими ему проблемами, но ощущение кризиса старой системы вышло за пределы ядра («хартленда») и способствовало радикальным идеологическим инновациям, как левым, так и правым. Из них особого упоминания заслуживает ленинская ревизия марксизма, замаскированная под защиту его чистоты. Идея обладающего высшим знанием организованного авангарда, сформулированная в книге Ленина «Что делать?», вовсе не означала «изобретения тоталитаризма»¹⁰: процесс, имевший множество причин и направлений, нельзя свести к одному поступку или изобретению. Но ленинизм имел исключительное значение из-за своего как прямого, так и косвенного влияния: в последнем случае – в качестве образца для своих противников. До Первой мировой войны оба вида радикализма были маргинальными явлениями, но, как подчеркивает Гоше, война и ее последствия открыли новые возможности политического действия, выходящие за

10 COURTOIS S. *Lénine, l'inventeur du totalitarisme*. Paris: Perrin, 2017.



рамки довоенных моделей. Реализовавшиеся во время войны организационные способности государств и опыт массовой мобилизации предвосхитили последующую активность, цели которой были уже революционными, а крушения политических режимов в конце войны придали силы приверженцам таких проектов. Тоталитарные структуры власти сформировались в странах, потерпевших поражение (Россия и Германия) или не сумевших пожать плоды номинальной победы (Италия). Эти три примера иллюстрируют еще один, последний, тезис контекстуализирующего исследования Гоше – связь между тоталитаризмом и империей, – хотя каждый конкретный случай имел свою специфику. Россия была империей, не имевшей заморских и других сильно отдаленных от основной территории владений, и в то же время глубокая традиционность сочеталась здесь с зарождающимися чертами модерности. Италия только недавно объединилась в национальное государство, стремившееся (без особого успеха) к имперским завоеваниям и при этом сохранявшее ярко выраженную и политически эффективную культурную память о Римской империи. Германия представляла собой особенно сложный случай и, возможно, являлась самым ярким примером взаимообусловленности национализма и имперскости. Даже по сравнению с Италией это было совсем молодое национальное государство, но с более длительной предысторией и более сильной националистической основой. Включение в состав Германии нескольких ранее самостоятельных государств придавало новому образованию имперское измерение, которое усиливалось традициями Священной Римской империи, а также захватом колоний в эпоху кульминационной фазы европейского империализма. Наконец, следует учитывать и такой фактор: в 1917–1918 годах Германия шла по пути имперского завоевания Восточной Европы, и возобновление этих усилий в надежде на больший успех стало главной целью нацистского режима.

По мнению Гоше, есть несколько причин, по которым имперский контекст в высшей степени совместим с тоталитарными амбициями, хотя не идентичен им и не связан с ними неизбежно. Идея империи подразумевает власть, олицетворяющую и гарантирующую высшее единство; отсюда претензия на всеохватную сакральную интеграцию (*union de tous avec tout*¹¹ в терминах Гоше), характерную для традиционных империй и косвенно подразумеваемую светскими религиями тоталитарных режимов. Наконец, имперская власть обычно сопровождается персонификацией верховного правления. Таким образом, современные ассимиляции имперского наследия мо-

11 Союз всех со всеми (фр.).

гут способствовать обращению вспять демократической тенденции к развоплощению власти.

Эти соображения об империи и тоталитаризме выглядят весьма убедительно, но с существенными оговорками. Сходство с имперскими представлениями и традициями – лишь один аспект связи между европейскими тоталитарными режимами и глобальной империалистической констелляцией; другой аспект – их реально-историческая и идеологическая связь с колониальной экспансией. Это обстоятельство было должным образом подчеркнуто в исследовании Ханны Арендт, но не всегда учитывается при восприятии ее работ о тоталитарном господстве. Как и большинство вопросов, которые затрагивала Арендт, ее наблюдение в большей мере относится к нацистской Германии. Расистские и социал-дарвинистские представления, доведенные нацистами до крайности, во многом обязаны своей силой колониальным практикам и способам их оправдания. Связь колониализма и итальянского фашизма подсказывает еще один поворот мысли. На ранней и автономной стадии развития итальянского режима расовая идеология не играла заметной роли; основной упор делался на воспитании готовности итальянцев к глобальному соревнованию, предполагавшему заморские завоевания, и с этой целью эксплуатировалось римское имперское наследие. Однако для полной завершенности идеи национального возрождения требовался альтернативный образ человеческого превосходства. Официальные идеологи, в том числе Муссолини, весьма откровенно высказывались о преодолении миража *homo economicus* и провозглашении «человека фашистского», сосредоточенного на политических и военных вопросах.

В советской России также имелась связь с мировой империалистической ситуацией, но совершенно иного рода, и она осталась за рамками интерпретации, предложенной Арендт. Прояснить ее можно с помощью краткого комментария к ленинской теории империализма, сформулированной и опубликованной во время Первой мировой войны. С научной точки зрения, эта теория представляется весьма ветхой конструкцией, которую теперь повсеместно (хотя не единодушно) отвергают; однако в свое время ее политическое влияние было огромным. Ленин предложил некое исчерпывающее истолкование мирового порядка. По сравнению с явно преувеличенным, но тогда еще гипотетическим описанием глобализации в «Коммунистическом манифесте» ленинские идеи как бы делали упор на том, чтобы подвести итог всем теориям и дискуссиям. Более того, глобальная констелляция, истолкованная как неизбежный результат капиталистического развития, в то же время объявлялась его последней стадией. Таким образом,

ЙОХАН АРНАСОН

ТОТАЛИТАРНЫЙ РАСКОЛ:
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
МОДЕРНОСТИ XX ВЕКА



противоречие между теорией и историей в незаконченном анализе капитализма у Маркса волюнтаристски разрешалось: ленинская смесь ложнотеоретических и выборочно-эмпирических аргументов была призвана показать, что капиталистический уклад исчерпал себя. Сочетание глобальности и финализма яснее, чем прежде, служило определению перспектив мировой революции и закладывало основу для позднейшей попытки подчинить всемирный революционный процесс централизованно разработанной стратегии. С этой точки зрения, брошюра Ленина об империализме явилась модернизацией той модели авангарда, которая была разработана в книге «Что делать?». Очерк Дьёрдя Лукача о взаимосвязи ленинских идей, впервые опубликованный в 1924 году¹² – несомненно, наиболее значимая западная или центральноевропейская интерпретация ленинской теории в первые годы после октябрьского переворота, – выдвигает на первый план тему актуальности революции. Лукач имел в виду всемирную революцию (актуальность русской революции широко признавалась и без Ленина); обоснованием подобной перспективы и стала ленинская теория империализма как высшей стадии капиталистического развития. Последующий переход к «социализму в отдельно взятой стране», предсказанный Лениным, но так и не сформулированный им достаточно ясно, предполагал определенное отклонение, хотя и не прямой отказ, от глобального сценария революции. Ожидание радикальных перемен во всем мире еще долго оставалось фактором легитимации для государства, которое, как считалось, олицетворяло глобальную альтернативу; это ожидание позволяло в еще более догматическом тоне, чем раньше, предъявлять претензии на предвидение истории.

Советская версия тоталитаризма уникальна тем, что оформилась после ряда революционных событий, неизменно заканчивавшихся неудачами, и потому достигнутый в итоге успех не мог быть признан сам по себе – его требовалось представить как логический результат прошлых «побед».

Чтобы конкретизировать вышесказанное, нужно рассмотреть еще один специфически российский фактор, которому не уделяется должного внимания в генеалогии тоталитаризма Гоше. Советская версия тоталитаризма уникальна тем, что оформилась после ряда революционных событий, неизменно

12 Lukács G. *Lenin: A Study on the Unity of his Thought*. London: Verso, 2009.

заканчивавшихся неудачами, и потому достигнутый в итоге успех не мог быть признан сам по себе – его требовалось представить как логический результат прошлых «побед». Политические силы, пришедшие к власти в результате февральской революции 1917 года, не смогли ни провести военную мобилизацию, которая должна была последовать за политическими изменениями, ни обрести необходимую международную поддержку для кампании по прекращению войны. Эти неудачи дали большевикам возможность прорваться к власти, после чего снова последовал ряд неудач. Мировая революция, которая изначально рассматривалась как необходимое условие для сохранения большевистской власти и которая должна была первоначально победить в Центральной Европе, не осуществилась; обещание выйти из мировой войны было исполнено ценой капитуляции перед Германией и ее союзниками, что привело к зависимости, от которой большевиков спасло вмешательство США, положившее конец войне. Вслед за захватом власти, завершившимся роспуском Учредительного собрания, началась гражданская война, и ее последствия для общества были более катастрофичными, чем от Первой мировой. В результате большевики остались у власти, но их первоначальные обещания, способствовавшие ее захвату, оказались уже не актуальны. Еще до того, как эта ситуация проявилась, невыполнение – а точнее, намерение нарушить обещание, заключенное в лозунге «Вся власть Советам», становилось все очевиднее: исключительная высшая власть партии стала укрепляться сразу после октябрьского переворота. Но путь развития, когда партия получила при непредвиденных обстоятельствах безальтернативную власть, способствовал новому росту ее организационного и творческого потенциала. Этот потенциал в 1917 году был далек от модели, заданной в работе «Что делать?», однако новые трудности и возможности во время гражданской войны и после нее позволили возродить прежнюю концепцию в более авторитарной форме. Результатом стало переизобретение Российской империи во главе с новым институтом партии-государства. Эта империя основывалась – что очень важно – на реструктуризации отношений между проживающими в ней национальностями. Из-за традиционной принадлежности партии новый порядок должен был быть узаконен как «социализм в одной стране». Однако самый решительный шаг, предпринятый режимом и официально именовавшийся «второй революцией» – начатая в конце 1920-х интенсивная индустриализация, сопровождавшаяся коллективизацией сельского хозяйства, – был в первую очередь необходимым способом восстановления великой державы.

ЙОХАН АРНАСОН

ТОТАЛИТАРНЫЙ РАСКОЛ:
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
МОДЕРНОСТИ XX ВЕКА



ТОТАЛИТАРНЫЕ МОДЕРНОСТИ

До сих пор мы, частично солидаризируясь с Гоше, обрисовывали различные пути к тоталитарной власти и их конкретное историческое происхождение. Теперь остается обсудить взаимодействие тоталитарных проектов с компонентами модерности, чтобы прояснить, почему продукты такого взаимодействия можно рассматривать в качестве альтернативных модерностей. Для Гоше этот вопрос, по сути, связан с демократией и реакцией на ее проблемы. В этом отношении тоталитарные режимы имеют общий знаменатель: «Их оригинальность по сравнению с тираническими или деспотическими формациями прошлого заключается в том, что они располагаются на территории демократии»¹³. Все три рассматриваемых исторических примера можно объяснить как реакцию на провалы демократических режимов, на их неспособность достичь важнейших целей или справиться с важнейшими проблемами. Верно, что ни один тоталитарный режим не возник в контексте давно установившихся демократических традиций, но эти режимы сопровождалась – и оправдывали свое существование – общей критикой недостатков, якобы присущих представительной демократии. Сторонники и стратеги тоталитарных решений заявляли о подлинном единстве руководства и народа, недостижимом для представительного правления. Три институциональных выражения этой воображаемой политической связи были общими для примеров, проанализированных в работе Гоше: партия; доктрина, навязанная государственной властью; вождь, олицетворяющий власть и миссию режима. Сообщая эти три нововведения приводят к структурному, хотя и не признаваемому явно, согласованию с сакральными парадигмами всеобъемлющего единства, основанного на метасоциальных представлениях о порядке и/или прогрессе и сплочении общества вокруг центра смысла и силы. В соответствии с этим Гоше описывает тоталитарные идеологии как светские религии. Сами они не признают своего внутреннего родства с культом (светскую религию можно определить как попытку воссоздать религиозно-политические связи в политической сфере без явного обращения к религии) и при этом могут различаться по степени делегитимации религии в ее традиционном понимании. В своем стремлении выработать и насадить в обществе «научное мировоззрение» коммунисты зашли намного дальше, чем другие изобретатели подобных доктрин.

Отмеченные черты свидетельствуют о сходстве тоталитарных проектов. Однако Гоше стремится избежать смешения раз-

13 GAUCHET M. *Op. cit.* P. 328.

личных форм тоталитаризма, что было характерно для дискурса времен «холодной войны» и во многом дискредитировало эту концепцию. Предлагая свой список общих черт, он проводит различие между противоположными версиями – «ультра-революционной и ультранационалистической» – и называет их «существенно расходящимися и радикально враждебными проектами»¹⁴. Исследователь справедливо отмечает различия между итальянским фашизмом и немецким национал-социализмом, но считает их менее существенными, чем различия между советской моделью и двумя другими режимами, так как итальянская модель в итоге оказалась намного ближе к немецким принципам и практике, чем это было вначале. Таким образом, тоталитарный феномен следует анализировать в свете фундаментальной двойственности – в свете антагонизма, кульминацией которого стал самый масштабный военный конфликт всех времен. Но мы все же можем поставить вопрос, являются ли факторы национальной идеи и революции – безусловно, приемлемые в качестве отправной точки, – достаточным ключом для интерпретации. Некоторые дополнительные смыслы можно извлечь из приставки «ультра», и подробный анализ, предлагаемый Гоше, позволяет угадать более сложную структуру; однако в его книге это четко не сформулировано, и прежде, чем двигаться в таком направлении, нам необходимо пересмотреть первоначальный подход исследователя.

Гоше настаивает на тесной, хотя и парадоксальной связи между тоталитаризмом и демократией, и это отражает его общую установку трактовать развитие демократии как «современную революцию». Подход Гоше основан также на том несомненном факте, что тоталитарные режимы – это прежде всего политические формации. Но, чтобы прояснить их важные скрытые смыслы и лучше понять различия между режимами, следует кратко рассмотреть взаимосвязи с другими аспектами модерности, а также поднять вопрос о возникающих в результате этой взаимосвязи отличиях в их общей конфигурации. Такой расширенный подход не просматривается в работе Гоше. Автор отмечает, что, помимо демократической революции, есть и другие «революции автономии», прежде всего – рост капитализма и развитие науки, но эти исторические силы не анализируются в его работе сколько-нибудь систематическим образом. Особенно неубедительно выглядят ссылки на капитализм. В ранних работах Гоше, казалось, стремился закрыть дискуссию о капитализме, описав его как экономику, способствующую инновациям и, следовательно, непобедимую в обычной конкурентной борьбе в современном мире. Отголоски

ЙОХАН АРНАСОН

ТОТАЛИТАРНЫЙ РАСКОЛ:
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
МОДЕРНОСТИ XX ВЕКА

14 Ibid. P. 330.



этой позиции можно услышать в его четырехтомной монографии о демократии, однако в конце тома о тоталитаризме вопрос ставится хотя и в более содержательной, но на удивление приглушенной версии. Гоше обсуждает кризис либерализма и перечисляет разрушительные симптомы, на которые тоталитарные проекты отвечают обещанием реинтеграции; первый из них – это «структурное экономическое отчуждение исторического общества», вызванное динамизмом коммерческой сферы. Тоталитарный ответ направлен на то, чтобы «вернуть экономику на подходящее ей место в целом»¹⁵. Хотя капитализм здесь прямо не упоминается, связь с марксистской мыслью по данному вопросу очевидна. «Экономическое отчуждение» – синоним овеществления, которое Маркс считал результатом всеобщего товарного фетишизма; наиболее подробное развитие этой аргументации можно найти в «Истории и классовом сознании» Лукача – вероятно, важнейшем труде по теории марксизма, написанном в XX веке. Но этот источник доказывает также и ограниченность утверждения Гоше о связи с тоталитаризмом. Истолкование социальной реинтеграции как альтернативы овеществлению, несомненно, было одним из факторов, способствовавших широкой популярности тоталитарных проектов и, в частности, их привлекательности для интеллектуалов (ярким примером является случай Лукача). Однако такая линия объяснения в гораздо меньшей степени применима к генезису тоталитарных режимов и к тем идеологиям, которые они используют для самоидентификации. Ни один из них не был обязан своим происхождением отрицанию «экономического отчуждения», как это определено Гоше, и не обосновывал свою практику в таких терминах. Их отношение к капитализму – изменчивое и нестабильное сочетание отторжения и зависимости – нужно анализировать с другой точки зрения, и обсуждение следует начать с советского опыта: он длился дольше, чем другие версии тоталитарного правления, и раскрывает более сложную историю дистанцирования от капитализма и извлечения из него уроков – следовательно, он лучше подходит для рассмотрения в исторической перспективе не самых очевидных сторон.

Три момента, отмеченные попытками Ленина рационализировать захват власти большевиками, определили исходный контекст советского отношения к капитализму. Прежде всего революционная диктатура исповедовала давнюю марксистскую идею о преодолении и смене приоритетов цивилизационных достижений капитализма; большевики намеревались дать еще больше свободы развитию производительных сил и

15 Ibid. P. 663–664.

в то же время подчинить их удовлетворению человеческих потребностей. Эта задача была важна для формирования идеологии режима, но бесполезна для определения краткосрочных целей и стратегий. На этом уровне позиция Ленина, изложенная в его полемике с Каутским, заключалась в том, что нет никаких причин, по которым партия с социалистической программой не могла бы взять власть и использовать ее для создания предпосылок социализма. Трудно найти лучший пример необычайной способности Ленина отклоняться от классического марксизма, провозглашая себя при этом его верным последователем. Концепция политической власти, берущейся обеспечить динамичное развитие, всегда ассоциировавшееся с капитализмом, не имеет никаких оснований в марксистской теории. На практике эта концепция подразумевала более или менее явное и широкое заимствование технологических и организационных моделей, а также проекций будущего развития у развитых капиталистических экономик. Эта перспектива осложнялась еще одной установкой. Тесная связь между капитализмом и войной, догматизированная ленинской теорией империализма, имела множество значений. Если крупные войны между капиталистическими (и, следовательно, империалистическими) державами были системно необходимы, то всегда имелась опасность вовлечения советского государства в подобные конфликты или превращения его в главную мишень для империалистов, стремящихся к расширению территории. Вместе с тем резко возросло присутствие государства в экономической жизни стран-участниц Первой мировой войны, которое Гоше отмечает в качестве эпохального события, проложившего путь тоталитаризму, имело для Ленина вполне практическое локальное значение. Как он писал после большевистского переворота, диалектика всемирной истории создала две предпосылки для возникновения социализма в разных местах: пролетарская власть в России и управляемая государством военная экономика в имперской Германии. Последняя выступила в качестве модели плановой экономики, задуманной, но еще не конкретизированной большевиками.

Несомненно, Ленин преувеличивал огосударствление военной экономики Германии. Но суть была в восприятии, а не в сложной и противоречивой исторической правде. Большевистское понимание немецкого экономического опыта военного времени предвосхитило основные черты будущего экономического строя, часто обозначаемого термином «командная экономика» (хотя понятие «мобилизационная экономика», предложенное Жаком Сапиром, возможно, точнее). Это не значит, что на протяжении последующих десятилетий советской истории применялась готовая заимствованная модель. Стрем-

ЙОХАН АРНАСОН

ТОТАЛИТАРНЫЙ РАСКОЛ:
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
МОДЕРНОСТИ XX ВЕКА



ление к милитаризации по примеру Германии усиливалось многими обстоятельствами, как геополитическими, так и внутренними. В исследованиях последнего времени подчеркивается милитаризация общественной жизни, сопровождавшая сталинскую индустриализацию и коллективизацию конца 1920-х, а педалирование тезиса о возможности построения «социализма в отдельно взятой стране» сопровождалось все более настойчивыми претензиями на самодостаточность. На практике СССР не исключал использования западного опыта и знаний во время решающей фазы индустриализации 1930-х; и, хотя социально-экономическая трансформация страны сопровождалась беспрецедентным уровнем централизации и принуждения, по своей сути масштабный переход от «фермы к фабрике»¹⁶ был схож с прорывом, уже реализованным в других странах на капиталистическом пути развития. Промышленное развитие укрепило Советский Союз как великую державу и тем самым усилило императив военного соревнования. Предпринятая Хрущевым попытка смены ориентиров – ослабление ленинской связи капитализма и войны в сочетании с задачей обогнать Запад по экономическому росту и с новым обещанием коммунистического будущего – оказалась неэффективной. В результате советский режим смог соперничать с Западом в военном отношении лучше, чем в других областях, но издержки в конечном счете оказались для него непосильными.

Большевистское понимание немецкого экономического опыта военного времени предвосхитило основные черты будущего экономического строя, часто обозначаемого термином «командная экономика».

Одним словом, определение советской версии тоталитаризма как антикапиталистического проекта имеет под собой основания, но с большими оговорками. Совершенно иным был случай нацистской Германии. Принято считать, что национал-социалистическое движение пришло к власти в результате альянса со старыми элитами, в том числе с представителями крупной промышленности; но верно также и то, что, придя к власти, Гитлер постоянно пересматривал условия этого союза. Чтобы понять смысл таких пересмотров, нужно принять во внимание институциональный и идеологический контекст. Полного отказа от капитализма здесь никогда не было: социал-дарвинистский компонент нацистского мировидения с готов-

16 ALLEN R. *Farm to Factory. A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution*. Princeton: Princeton University Press, 2009.

ностью принимал конкуренцию и предпринимательство, и это многократно подчеркивал фюрер в нужные моменты. Определенные антикапиталистические нотки звучали в призывах различать производительный и паразитический капитал, но это формулировалось в расовых терминах и использовалось для «арианизации» собственности, а не для каких-либо структурных реформ. В то же время сохранение капиталистического экономического порядка гарантировалось только в определенных политических рамках, которые подчинили экономику краткосрочному проекту завоеваний и расового империализма. Этот тип тоталитарного режима лучше всего можно охарактеризовать не как антикапиталистический, а как транскapиталистический. И общая логика такого режима, если ее можно назвать логикой, была неотделима от идеологического ядра – ультрамифического антисемитизма, необходимого, чтобы найти общий знаменатель для заклятого врага – большевиков – и более отдаленной американской угрозы, а также для того, чтобы сдерживать подъем антикапиталистических настроений в пределах, которыми можно манипулировать, и выборочно использовать социалистическую традицию, отделив ее от ее марксистского мейнстрима. Вдобавок ко всему в этой логике формулировалась историческая миссия империи поселенцев, которую собирались создать в Восточной Европе. Сочетание реалистического приспособления к действительности и идеологического экстремизма, вскоре приведшее режим к саморазрушению, – примета национал-социализма как наиболее загадочного из тоталитарных феноменов.

Итальянский фашизм в его изначальной версии (впоследствии союз с Германией побудил итальянских фашистов во многом перенять нацистские практики) был наименее антикапиталистическим из всех трех вариантов тоталитаризма; его общую экономическую политику можно описать как пример того, что позже назовут «разновидностями капитализма». В конце 1920-х и в годы Великой депрессии Муссолини настаивал на корпоративизме, объединяющем интересы работодателей и рабочих под эгидой государства, в качестве альтернативы либеральному капитализму: это ключевой аспект образа, создававшегося в расчете на международное признание; в условиях мирового кризиса подобный образ выглядел весьма привлекательно.

Как видно из вышеизложенного, сравнение различных тоталитарных реакций на капитализм с его проблемами неизбежно поднимает вопрос о государственном регулировании. Подчинение капиталистической инициативы расовому империализму не требует той же роли для государства, как при создании зависимой, но якобы более высокой альтернативы

ЙОХАН АРНАСОН

ТОТАЛИТАРНЫЙ РАСКОЛ:
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
МОДЕРНОСТИ XX ВЕКА



капиталистическим институтам. Но на роль государства в тоталитарных конфигурациях власти влияют и другие факторы, и, чтобы их прояснить, следует еще раз обратиться к демократической основе тоталитарных проектов. Современная демократия – это не просто принцип легитимации власти снизу вместо традиционной легитимации сверху; это еще и форма государственности, и как таковая она неотделима от национального государства. Это должным образом отмечается в анализе демократических преобразований, предложенном Гоше, но, если пойти немного дальше, можно высказать соображения о некоторых вариациях тоталитарной государственности, связанных с возможностями политической модерности.

Современная демократия – это не просто принцип легитимации власти снизу вместо традиционной легитимации сверху; это еще и форма государственности, и как таковая она неотделима от национального государства.

Из трех рассматриваемых случаев итальянский фашизм в наибольшей степени придерживался государственнической концепции и соответствующего позиционирования своей исторической миссии, что привело к формальному включению в состав государства ключевых партийных институтов. Для привлечения широких народных масс фашистское государство опиралось не на народное представительство, а на силу идеи. Такой подход мог основываться на современных представлениях о государстве, вдохновленных авторитарными, но инклюзивными этическими принципами, посредством которых государство преодолевает разрыв с обществом. Версия гегельянства, предложенная Джованни Джентиле, соответствовала этой цели. Джентиле – единственный оригинальный философ, оказавший значительное влияние на тоталитарную идеологию и даже написавший вместе с Муссолини важнейший программный текст. В отличие от него, два наиболее выдающихся мыслителя из числа тех, кто сотрудничал с национал-социалистами – Мартин Хайдеггер и Карл Шмитт, – питали иллюзии относительно своей способности просвещать нацистское движение, но не оказали никакого реального влияния на убеждения или политику нацистов. Апелляция к величию Римской империи привнесла в государственническую доктрину героический пафос. Однако на практике имперские амбиции не выходили за пределы весьма скромных попыток Италии включиться в борьбу за заморские колонии. Союз с Гитлером,

на который делалась большая ставка в этом плане, в действительности отодвинул итальянский режим на еще более второстепенные позиции. В данном случае имперский проект не получил ни реального поля деятельности, ни воображаемого увеличительного стекла для удовлетворения чрезмерных претензий государства и его вождя.

Создателям советской модели имперская арена была доступна с самого начала, и, как показали дальнейшие события, временная потеря территорий рассматривалась ими как обратимая. Это широкое поле деятельности придавало правдоподобие партийной доктрине о построении «социализма в отдельно взятой стране». В то же время идеологическое наследие, кодифицированное под ярлыком «марксизм-ленинизм», включало идею отмирания государства. Это обещание с самого начала скорее нарушалось, чем выполнялось: большевистский переворот положил начало процессу непрерывного и бескомпромиссного государственного строительства. Однако можно предложить рациональный способ разрешения данного противоречия, приняв во внимание возможности имперского масштаба и идеологического преобразования. Заявление Сталина, что в процессе подготовки условий для своего отмирания государство будет укрепляться, обычно воспринимается как образчик неприкрытой софистики, но в нем выражено нечто большее, чем кажется на первый взгляд. История советского государства включает институциональные и идеологические изменения, поддерживавшие его претензии на демократическую легитимность и способствовавшие разрешению конфликта между сиюминутными практиками и долгосрочными обещаниями.

Первые шаги, предпринятые большевиками для удержания власти после октябрьского переворота, не подразумевали окончательных решений о способе правления. Переломный момент наступил в начале 1918 года, когда новый режим разогнал Учредительное собрание. Согласно официальной версии, это было сделано во имя более высокой формы демократии, представленной советами рабочих и солдатских депутатов, которые в то же время позиционировались как гарантия того, что власть государства в конечном счете сама собой исчезнет. На практике советы служили промежуточной инстанцией для утверждения и расширения партийно-государственной власти. Следующим важным шагом стало принятие в 1936 году новой Конституции. Это нововведение, произошедшее накануне сталинского Большого террора, часто неправильно понималось теми, кто видел в нем победу государственников над революционерами (иногда принимая террор за часть того же процесса), а также критиками режима, которые считали это событие банальной сменой фасада, никак не затронувшей реальные рычаги власти.

ЙОХАН АРНАСОН

ТОТАЛИТАРНЫЙ РАСКОЛ:
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
МОДЕРНОСТИ XX ВЕКА



В действительности Конституция была приспособлена к уже существовавшим структурам власти (и их революционной логике) намного лучше, чем предполагали все те, кто целиком сосредоточился на вопросе о доверии к провозглашенным в ней демократическим принципам. Конституция закрепила «руководящую роль партии», создав таким образом властный центр, наделенный полномочиями ограничивать гражданские права во имя высшей миссии. Тем не менее конституционализация партии-государства была значительным шагом вперед. Она отразила эрозию легитимности, опиравшейся на власть советов, так как последние превратились в простой инструмент. Новая структура адаптировала модель правления к формам, близким к обычным версиям современной демократии, и эта корректировка отвечала интересам советской внешней политики, поставившей во главу угла улучшение отношений с западными державами.

Частью программы реформ Хрущева после 1956 года стало в основном идеологическое – хотя и политически значимое – переопределение природы власти. Государство, долгое время определявшееся понятием «диктатура пролетариата» (по сути пустым, но риторически эффективным), получило статус «общенародного». Эту очевидную уступку общепринятому в мире понятию суверенитета народа можно понять только в историческом контексте. Опыт показал, что «диктатуру пролетариата» легко превратить в ширму для диктатуры в более традиционном смысле. Новое определение государства было связано с усилиями сделать впредь невозможным подобный вариант развития и, таким образом, перейти от автократической формы партии-государства к олигархической. Оглядываясь на историю разных форм, которые принимала советская государственность, можно увидеть ее важные отличия от других типов тоталитаризма. Гоше справедливо подчеркивает общую для всех тоталитарных режимов претензию – превзойти демократию всеми признанных демократических обществ, создав подлинное единство государства с народом. Однако усилия по созданию и поддержанию некоего подобия представительного правления были специфичны именно для Советского Союза (в двух других случаях этот момент был сведен к инсценировкам плебисцитов, которые в итальянской модели совмещались с корпоративизмом) – тем более, что представительные органы существовали на множестве уровней формально федеративного государства. Некоторых наблюдателей этот фальшивый маскарад ставил в тупик. Можно предположить, что, помимо обеспечения каналов управления и связи, псевдопредставительный режим правления еще и подчеркивал превосходство СССР над его соперниками. Институты, которые

считались наиболее ценной отличительной чертой западной модерности, как оказалось, вполне могли играть подчиненную и даже имитационную роль.

Когда речь заходит о государственности и об отношениях между государством и партией, наиболее сложным для концептуализации оказывается самый недолговечный из трех тоталитарных режимов – нацистская Германия. Здесь стоит вкратце напомнить об одном новаторском исследовании национал-социализма – во многих отношениях спорном, но все же заслуживающем внимания благодаря сосредоточенности на вопросах, которые неизменно вызывали трудности у последующих исследователей. В книге «Бегемот», написанной во время Второй мировой войны и опубликованной в 1942 году, Франц Нойманн противопоставлял Германию как Италии, так и Советскому Союзу: в Италии власть принадлежала государственной партии, в СССР – партии-государству. По мнению Нойманна, советский террор преследовал в первую очередь цель усиления власти партии над государством. Принимая во внимание известные нам теперь последствия террора для высшего партийного руководства, дело представляется более сложным. Нойманн недооценил роль вождя, институционализированного в качестве последнего и непререкаемого классика партийной теории, наделенного единоличным правом писать и переписывать историю партии.

ЙОХАН АРНАСОН

ТОТАЛИТАРНЫЙ РАСКОЛ:
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
МОДЕРНОСТИ XX ВЕКА

Идеологическое наследие, кодифицированное под ярлыком «марксизм-ленинизм», включало идею отмирания государства. Это обещание с самого начала скорее нарушалось, чем выполнялось: большевистский переворот положил начало процессу непрерывного и бескомпромиссного государственного строительства.

Структуру власти в нацистской Германии труднее свести к четкой формуле. Нойманн утверждал, что на первом этапе, после прихода Гитлера к власти в 1933 году, некоторое время действовал импульс к созданию тотального государства, но партия выступила против этого, и в результате режим разделился на четыре блока власти, каждый из которых, по Нойманну, можно считать тоталитарным: партия, государственная бюрократия, армия и экономика, в которой доминировали монополии. Вождь был нужен системе, чтобы придать единство этим разграниченным и часто конкурировавшим социально-политическим силам. Однако, по мнению Нойманна, решения



Гитлера в основном сводились к компромиссам между силовыми блоками.

Достоинство этой концепции состоит в том, что она предвосхитила развитую в позднейших исследованиях проблематику так называемой «поликратии». Германская модель четырех блоков власти, предложенная Нойманном, в настоящее время учеными не используется, однако возникновение автономных центров власти – или, в случае Германии, поддержание уже существовавших центров в новых условиях – на практике является ключевой темой для исследования тоталитарных проектов. Поликратия – это в определенном смысле неизбежная оборотная сторона тоталитарного стремления к монолитности. Однако это не единственный эффект такого стремления. Роль вождя следует рассматривать в связи с проблемой фрагментированности власти, но идеи Нойманна по этому вопросу сейчас также кажутся неубедительными. Во-первых, исследования историков (часто стоящих на прямо противоположных позициях) показали, что место и роль Гитлера в структуре власти были гораздо весомее, чем следует из идей Нойманна о посреднической функции вождя между институциональными силами. Во-вторых – и это главное, – никакие функционалистские концепции не могут полноценно истолковать феномен Гитлера. Вряд ли какой-либо режим в большей степени зависел от одного человека, чем национал-социалистическая диктатура от фюрера. В противоположность этому роль Сталина в советской системе намного более трансперсональна: Сталин был воплощением доктрины и организации; он занял место, уже освященное культом умершего вождя.

Германский фюрер как личность был возведен до уровня институции. Это явление с трудом поддается истолкованию в рамках обычных социологических концепций, о чем свидетельствуют, например, частые указания на его харизматичность, сопровождаемые размышлениями о том, что это не объясняет в полной мере исключительности данного случая. Подчеркивая центральную роль фюрера, не следует возвращаться к позиции историков-«интенционалистов», преувеличивавших участие Гитлера во всех сферах деятельности и в каждом значительном решении. Институциональный статус позволял фюреру дистанцироваться от рутинных дел и конкретных решений, оставляемых на усмотрение подчиненных. Как показал Ян Кершоу, конформизм обеспечивался идеей «работать навстречу фюреру», подкрепленной самыми общими и разделяемыми большинством установками национал-социалистической идеологии.

Ссылка на идеологические факторы требует пояснений. Сейчас совершенно ясно, что ключевыми элементами идеологии

Гитлера являлось завоевание Восточной Европы и построение империи. Столь же ясно, что эта программа намного меньше способствовала его популярности в народе, чем обещания (за которыми последовали очевидные успехи в 1930-е) вернуть Германии статус великой державы и преодолеть экономический кризис. Но все эти меры, сделавшие Гитлера в глазах немцев национальным спасителем, с его собственной точки зрения (и с точки зрения его ближайшего окружения), были лишь подготовительными шагами к завоевательной войне. После неожиданной победы на западном фронте главным направлением удара стал Советский Союз, и в 1941 году началась основная стадия войны. Нет сомнений, что эту эскалацию по множеству причин приветствовали различные союзники и сторонники режима. Наиболее важно, что эскалация была по душе тем членам военного руководства, которые решительно намеревались повторить завоевания 1917–1918 годов, утраченные после поражения Германии в Первой мировой, и новую фазу войны можно было рассматривать как способ обеспечить пространство для дальнейшего накопления экономической мощи. Эти и многие другие ожидания материальных выгод послужили дополнительным фактором в пользу агрессии. Вся эта разнообразная, дискретно мотивированная поддержка позволила Гитлеру вести войну в соответствии с самыми крайними доктринами национал-социализма – как идеологическую войну на уничтожение, включая не в последнюю очередь уничтожение еврейского населения в Восточной Европе.

Такой характер войны на восточном фронте имел далеко идущие последствия для исторических перспектив национал-социализма, и их лучше всего обсудить, в последний раз вернувшись к работе Гоше. Как отмечает исследователь, войну, которая велась с целью построения расовой империи, можно рассматривать в качестве еще одной версии «второй революции», которая была в зародыше пресечена и превентивно осуждена в 1934 году. В Германии никакая революция уже не прошла бы; нельзя было и думать о лобовой атаке на истеблишмент, с которым Гитлер заключил союз. Но расовая империя, основанная на значительном расширении территории, создавала бы совершенно новое общество. Это общество продемонстрировало бы прежде всего, что раса превышает нацию. Таким образом, Гоше преувеличивает роль нации как основы фашистского и нацистского тоталитаризма. Исследователь акцентирует партикуляризм этих двух проектов и цитирует среди прочего высказывания Гитлера о том, что национал-социализм не предназначен для экспорта. Однако наглая экспансия в сочетании с мечтой о мировой гегемонии сделала экспорт ненужным: императив экспансии привел к самоутверждению

ЙОХАН АРНАСОН

ТОТАЛИТАРНЫЙ РАСКОЛ:
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
МОДЕРНОСТИ XX ВЕКА



расы, а расовая перспектива, основанная на смеси номинальной «научности» и мифологизированной истории, превратила изначальный партикуляризм в универсализм. Все эти концептуальные сдвиги подводят нас к аргументации Ханны Арендт, которая понимала расовую идеологию, особенно в ее нацистской версии, как выход за пределы национализма, а идею расовой империи – как альтернативу национальному государству; последнее было неподходящей основой для тоталитарного стремления к власти.

Расовая империя должна была преодолеть напряженность между национальными и имперскими тенденциями – взаимосвязанными, но едва ли согласуемыми с принятыми на Западе моделями модерности. Она должна была стать тренировочной площадкой для новых элит, прототипом которых, как полагают многие историки, были эсэсовцы. Как *Lebensraum*¹⁷ для поселенцев-фермеров она удовлетворяла бы архаизирующим интенциям нацистской идеологии, но в качестве претендента на мировую гегемонию, очевидно, нуждалась бы в динамичной экономике и передовых технологиях. Одним словом, это был проект альтернативной модерности, по всей вероятности, обреченный на провал, но способный вызвать деструктивные процессы беспрецедентной силы. Он уничтожил довоенный европейский порядок и изменил ход мировой истории. Одним из немаловажных последствий было усиление легитимности его противника, больше других сделавшего для победы над ним. Сталинское преобразование Российской империи к тому времени – благодаря «второй революции» – трансформировало первоначальную революционную идеологию, а победа во Второй мировой войне усилила национальную идентичность СССР. В этом состоит еще одна причина необходимости релятивизировать предложенную Гоше дихотомию национальной или революционной основы тоталитарных проектов, и такая релятивизация имеет международные импликации. Успешные сплавы коммунизма и национализма относятся к периоду после 1945 года. Но эта тема слишком сложна, чтобы обсуждать ее в рамках данной статьи.

Перевод с английского Андрея Степанова